

harmonia urbis

В то утро я проснулся от собственного смеха.

Мне приснилось, что я катаюсь по улицам Брно на спине. Мои острые лопатки заканчивались маленькими колесиками, как у чемодана, а третье колесико, дребезжавшее по мостовой, помещалось где-то в районе крестца. Я старательно отталкивался ногами и мчался по пешеходному центру города, будто бы лежа на спортивных санях, но только головой вперед. Улицы из этого положения казались удивительно воздушными: небо раскинулось прямо надо мной, а доходные дома притворялись небоскребами. Правда, было одно неудобство — я не видел, куда еду, поэтому пешеходы либо отпрыгивали в сторону, либо широко расставляли ноги, чтобы я мог проскочить под ними, как шар сквозь крокетные воротца.

Я мчался по городу без особой цели, подобно какому-нибудь владельцу кабриолета в теплый субботний день. Но потом кадр сменился и оказалось, что я уже успел подобрать пассажира, а точнее, рыжеволосую пассажирку, которая, видимо, вовремя не заметила, что моя голова, едва не касаясь земли, несется прямо на нее со скоростью пушечного ядра. Теперь девушка сидела у меня на коленях, и я, приглядевшись к ней снизу, признал свое попадание вполне удачным — если учесть, что врезался я в нее буквально со слепу. Наше положение было не только приятным, но и выгодным: девушка могла рулить, а я — больше не бояться,

что сломаю себе шею, налетев на дорожный столбик, или застряну подбородком в какой-нибудь вентиляционной решетке.

Мы неслись вниз по Пекаржской улице, когда я вдруг заметил то, что знал уже давно, но наяву до конца не осознал. Весь город гулко резонировал, словно в пустотах под его мостовыми лежали огромные металлические пластины. Проезжал трамвай — и они отзывались басом, по тротуару стучали каблуки — и пластины звенели, как музыкальный треугольник; даже на брошенный окурок — и на тот они откликались. Я вдруг понял, что не наверху, а именно внизу записываются все наши шаги, промахи и скачки. Гигантская акустическая система преобразует наши движения в звуковые волны, которые окружают нас, хотя и находятся за пределами слышимости.

Может, теперь я их наконец слышу, потому что уши мои так близко к мостовой, подумалось мне в том сне, и я спросил у девушки, не слышит ли она тоже что-то необычное. Но девушка только рассмеялась в ответ и устроилась на мне поудобнее, так что взгляд мой слегка затуманился и сон вдруг стал напоминать сон из какого-нибудь фильма. Нам даже ногами отталкиваться было не надо: мы неслись вниз по инерции, колесики под моими лопатками крутились как заведенные, девушка на мне ерзала, ветер свистел в ушах, и Брно гудело так, словно лежало не в междуречье Свратки и Свитава, а на дне тибетской поющей чаши.

Когда мы миновали больницу Святой Анны, меня стало одолевать беспокойство, знакомое во сне любому водителю: как же нам останавливаться на светофорах, если у нас нет тормозов? Но, к счастью, впереди зажегся зеленый; мы для верности прибавили скорость, проскочили перекресток и достигли кульминации на площади Менделя, свернув с дороги в какую-то кучу песка во дворе августинианского аббатства. Моя запыхавшаяся пассажирка принялась щекотать мне ребра, и от смеха я проснулся.

Какой смысл вставать, если главные события дня уже случились?

В то время я жил в квартире на Пелликовой улице. В престижном, так сказать, месте. Окна кухни выходили на зеленый склон холма Шпильберк, а из комнаты — единственной, но зато просторной — открывался вид на сад и на Старый город; вдобавок в хорошую погоду вдали просматривалось трехгорье Палавы. Это окно с широченным подоконником, где можно было, развалившись, читать, занимало всю стену, а напротив него располагался книжный шкаф. Точнее, два диковинных книжных шкафа, которые мне удалось вызволить из одной комиссионки на улице Цейл, — оба со скругленным верхом, похожие на двух белых китов: один — с зеркалом, удваивавшим пространство комнаты, другой — с дверцами такого замысловатого плетения, что рябило в глазах. Кроме того, в комнате были кровать и компьютерный стол, а на полу — белый шерстяной ковер, который, по словам продавца, должен был линять только первые две недели, но почему-то так и не бросил это дело. “На этом ковре он трахает своих девушек”, — однажды шепнул мой отец своей матери, стараясь, чтобы я его не услышал. Да, все верно, его мать приходилась мне, как уж это водится в семьях, бабушкой. Она взглянула на меня вопросительно, а я почти незаметно покачал головой. Мне не хотелось объяснять ей, что будь оно так, мы с девушкой превратились бы в подобие белых мохнатых медведей. А главное — не было у меня никакой девушки.

Папе скорее следовало показать на компьютер и сказать: “Вот тут он сидит и пишет, как трахает на этом ковре своих девушек”. Но даже и тогда он был бы прав только наполовину. В ту пору я писал в основном эссе для разных журналов и мудреные социологические статьи, которые моя требовательная аспирантура поглощала, как удав — белых мышек.

Я все-таки выбрался из постели и отправился на кухню заварить чай. Апрель был в самом разгаре, и на улице весна

уже устроила свой яркий и душистый карнавал. Напротив дома, на Шпильберке, цвела сирень, и молодая фосфоресцирующая листва обрамляла, будто обведя их маркером, ветвящиеся схемы кустов.

Пока чай настаивался, я решил ненадолго заглянуть на работу, в издательство. В то время оно обитало в старом кирпичном здании, которое находилось на улице Радлас, в так называемом “брненском Бронксе”*.

Мой путь лежал через центр города; в голове у меня все еще слабо отдавалось гудение, услышанное во сне. Стоило мне оказаться в Бронксе, как я тут же начал наткаться на кучки подростков, которые шатались по улицам вместо того, чтобы сидеть в школе, — хотя какая там школа, когда на дворе весна; цыганские матроны высовывались из окон и, бранясь, перекрикивались через дорогу, но, может быть, эта ругань лишь чудилась моим белым ушам, а на самом деле цыганки просто строили общие планы на вечер. Бронкс был одним из немногих мест в Брно, где все буквально жили на улице. Здесь постоянно что-то происходило; правда, иногда бывало не совсем ясно, что именно. Однажды тут объявился черный “мерседес”, и выскочившие из него четверо парней в брендовой одежде кинулись всей кучей в телефонную будку и принялись беспорядочно стучать по кнопкам; казалось, будто им срочно нужно выбраться из матрицы, — впрочем, их-то я как раз понимал. Или взять еще тот роскошный лимузин, который остановился как-то у обочины и из которого вышел человек в светоотражающем жилете работника коммунальной службы. Когда багажник вальяжно открылся, мужчина извлек оттуда не оскверненную пылью метлу и принялся неторопливо подметать тротуар; машина же так и стояла на аварийке. Ему что, назначили наказание в виде исправительных работ? Что он такого натворил? По утрам я обычно становился свидетелем одной и той же сцены: две маленькие облезлые собачонки на коротких поводках визжат на всю улицу и бросаются друг на друга, а мужчины, их вы-

гуливающие, преспокойно курят и обсуждают результаты матчей. Что поделаешь, старые собачьи склоки, читалось в их невозмутимых взглядах.

Тем утром поводки перекрутились не на шутку, и я подумал — до чего же непросто будет их распутать! А главное: что станет делать вторая собака, когда первая околеет?

В ту пору редакция издательства представляла собой лабиринт невзрачных кабинетов. Свой я выкрасил в бирюзовый цвет, а на стенах развесил черно-белые фотографии танцовщиц, размытых в движении; эх, мои старые призрачные любви. Из окна открывался вид на полосатую фабричную трубу и заброшенное промышленное здание с чугунными оконными переплетами, внутри которого мое берлинское воображение рисовало лофты, музыкальные клубы, репетиционные залы и бог знает что еще.

Я включил компьютер и, пока операционная система переговаривалась сама с собой, отправился на кухню в очередной раз заварить себе чай. Там я обнаружил Мирека, пытавшегося убедить кофемашину налить ему хоть что-нибудь.

— Ну как, прочел рукопись Балабана*? — спросил я.

Ян Балабан по прошествии многих лет написал роман, лишь второй по счету, и все мы сгорали от любопытства.

— Он ее забрал, там есть еще над чем поработать, — ответил Мирек и стукнул утомленную кофемашину кулаком в бок.

— И как тебе?

— Начинается в приюте для собак — кончается в приюте для собак, — пожал плечами Мирек. — Я тебе потом пришлю.

Из кофемашины вдруг вытекло нечто, мало похожее на кофе.

— Эта рухлядь себе промывку решила устроить?! — изумился Мирек. — Издевается, что ли?!

— На твоём месте я бы убрал кружку. А как он его назвал-то, свой новый роман?

— То ли “Спроси у отца”, то ли “Спроси у папы”, — ответил Мирек, выплескивая из рекламной кружки какой-то типографии коричневую жижу; кофемашина тем временем продолжала давиться застрявшими кофейными крупичками. — Тебе как больше нравится? Он, правда, чужих советов не слушает, но все-таки.

— “У папы”.

— Мне тоже. Но ему больше нравится “отца”, это, мол, придает многозначности. Ну, типа “у Отца Небесного”. Хотя книга, конечно, о его папе. Ладно, посмотрим, — закончил Мирек своей любимой фразой, которая означала, что решение отодвигается на неопределенный срок.

Между тем компьютер, пыхтя, загрузился. Я тогда только-только зарегистрировался в Фейсбуке и ко мне то и дело стучались в друзья. Я еще пытался держать свой аккаунт под контролем: отклонял запросы от незнакомых личностей, если, конечно, это не были незнакомые девушки, или, по крайней мере, пытался выяснить, что это за люди. Будучи новобранцем, я не успел еще выработать в себе зависимость от этой синей вселенной и потому быстро закрыл Фейсбук, открыл пустой “ворд” и до самого обеда перепечатывал интервью с Владимиром Микешем, переводчиком “Божественной комедии”, которое записал неделю назад.

• • •

В те годы на Цейле имелся вегетарианский ресторан. Долго он там не протянул, видимо, потому, что на его вывеске стояли рядом два слишком длинных слова. Похожая судьба ожидала кофейню, которая позиционировала себя при помощи слогана “Хороший кофе в плохом районе”, — но даже эта шутка не помогла ей выжить.

Я сбежал по лестнице в полуподвал, где располагалось тогда “Вегалите”. Романа еще не было. Мы с ним частенько обедали вместе: когда-то учились в одной гимназии, а не-

давно он начал встречаться с моей подругой из Академии Яначека — вот пазл и сложился.

Дело в том, что помимо социологии я изучал еще и театральную драматургию в Академии музыкальных и сценических искусств имени Яначека. Это такое учебное заведение, куда двадцатилетний актер мог заявиться после ночи, проведенной в знаменитом круглосуточном баре по соседству, и, рыгнув, возгласить: “А теперь слушайте меня, вы, ублюдки: однажды нам всем придется отвечать за свою преждевременную смерть”.

— Ярда, что ты опять несешь?

— Я?! Ну ты и козел! Это же Антонен Арто...

— Что, правда?

В общем, моя первая альма-матер и Академия кое-чем разнились. Если на социологическом факультете взращивали критическое мышление и пожинали интеллектуальный скепсис, то на театральном “воспитывали творческих личностей”, как бесхитростно выразился в самом начале нашей учебы один из преподавателей.

Это воспитание имело, естественно, свою специфику, заключающуюся прежде всего в том, что воспитывать творческую личность могла только другая творческая личность; ученик получал посвящение от учителя, как в тибетском буддизме. От факультета социологии Академия отличалась чуть более свободным духом и намного более индивидуальным подходом, хотя воспринять эти добродетели удавалось не всем. Как ни парадоксально, главная трудность состояла в том, что из некоторых адептов творческие личности вылуплялись слишком быстро, как попкорн из кукурузных зерен в микроволновке. Так что буквально в начале второго курса не в одной студии приходилось поднимать потолки, чтобы этим личностям хватало там места и не приходилось горбиться.

Процесс обучения в Академии в общем-то сводился к эпизодическому подбиранию крох святости со стола безумца.

Например, изредка у нас объявлялся русский режиссер, настоящий богатырь, который всю жизнь разъезжал между Москвой и Петербургом, а теперь, прямо как Наполеон на Эльбу, оказался временно сослан в Брно*. Первым делом он запрещал студенткам ходить на занятия в джинсах и кедах, потому что актриса прежде всего должна быть красивой, так что на будущее — только платье и туфли на каблуке. Введя эти ограничительные меры, от которых мои прошаренные друзья с отделения гендерных исследований пришли бы в неописуемый ужас, он пускался репетировать с нами Достоевского, куря одну за другой прямо в аудитории сигареты и рассуждая о том, что значит ставить Федора Михайловича в мире без Бога. Непосвященному могло показаться, что это значит беспрерывно курить и бросать на местную версию Настасьи Филипповны пылкие взгляды, которые при всем старании нельзя было счесть режиссерскими указаниями. Но именно в этом-то и состояло преимущество Академии. Здесь все еще задавались по-настоящему важными вопросами, уже не интересовавшими социологию; правда, платой за это была терпимость ко всяким побочным эффектам, сопровождавшим безуспешные поиски ответов на те самые вопросы, — к болезненному нарциссизму, разнообразным пагубным привычкам, хронической депрессии, а в более легких случаях — к несносному самодовольству и неискоренимой бестактности. Прямо-таки сборная Парнаса в привычном основном составе.

В этом смысле сильное впечатление произвел на меня один семинар, который — так уж получилось — тоже вела режиссер из России. Дама с волосами цвета воронова крыла со скрипом поднялась по деревянным ступеням в наше гнездо, пристроившееся под самой крышей, села на обшарпанный стул, задумчиво поглядела на верхушки церковных шпилей и произнесла: “По-настоящему изменить человека могут только любовь и смерть. Слышите, дети? Любовь и смерть — ничто другое вас не изменит. Ни о чем другом

и говорить не стоит. Лишь любовь и смерть — уж поверьте”. После этого глаза ее наполнились слезами, и пара, которая длилась всего несколько минут, завершилась.

Наконец дверь распахнулась и Роман плюхнулся на стул напротив меня.

Сорри, у меня сегодня была инспекция. Ты уже заказал?

— Тебя ждал.

— Решил, что будешь? — спросил он, погрузившись в меню.

— Не знаю, или вегетарианский шашлык, или, может, фалафель.

— Я буду шашлык, — объявил он. — Ну что, ты на сегодня все?

— Да вроде да. Я интервью перепечатаваю, этим и дома можно заняться. А ты?

— Надо бы отчет написать. Опять пластиковые окна там, где можно было отреставрировать деревянные, — ответил он, недовольно покачав головой.

Роман выучился одновременно на архитектора и на юриста. Теперь он работал за смешную зарплату в комитете по охране памятников и вел нескончаемый бой с новоделом, визуальными загрязнениями и огороженными террасами кафе, выстеленными зеленым ковролином.

— Ты лучше скажи, как там Ева? — спросил я о своей бывшей сокурснице и новой девушке Романа. — С тех пор, как вы начали встречаться, я о ней ничего не знаю.

— Она все еще в Польше, премьера через пару недель. Надеется, что мы с тобой опять приедем.

— Ну, и как у нее дела?

— Мы созваниваемся ночью по Скайпу, раньше она не может, — пожал он плечами. — Слушай, она и в Академии такой была?